

Размышления об истинном пути

1. Истинный путь идет по канату, который натянут не высоко, а над самой землей. Он предназначен, кажется, больше для того, чтобы о него спотыкаться, чем для того, чтобы идти по нему.
 2. Все человеческие ошибки суть нетерпение, преждевременный отказ от методичности, мнимая сосредоточенность на мнимом деле.
 3. Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются.
 4. Многие тени усопших заняты только тем, что лизжут волны реки смерти, потому что она течет от нас и еще сохраняет соленый вкус нашего моря. От отвращения река эта вздымается, начинает течь вспять и несет мертвых назад в жизнь. А они счастливы, поют благодарственные песни и глядят возмущенную реку.
 5. Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.
 6. Решающее мгновение человеческого развития длится вечно. Правы поэтому революционные духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, ибо еще ничего не произошло.
 7. Один из самых действенных соблазнов зла – призыв к борьбе.
 8. Она – как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели.
 9. А. очень напыщен, он думает, что весьма преуспел в добре, поскольку, будучи, очевидно, объектом всегда заманчивым, испытывает все больше искушений с совершенно неведомых ему прежде сторон.
 10. А верное объяснение состоит в том, что в него вселился большой бес и прибежала тьма маленьких, чтобы служить большому.
 - 11–12. Различие взглядов, какие могут быть, скажем, на яблоко: взгляд малыша, которому надо вытянуть шею, чтобы только увидеть яблоко на доске стола, и взгляд хозяина дома, который берет яблоко и без труда подает его сотрапезнику.
 13. Первый признак начала познания – желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая – недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть; просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Сказывается тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого не запирайте больше. Я беру его к себе».
 14. Если бы ты шел по ровной дороге, шел по доброй воле и все же отступал назад, тогда бы дело было пропашнее; но поскольку ты взбираешься по отвесному склону, такому отвесному, что снизу ты сам кажешься повисшим на нем, то шаги вспять могут быть вызваны только особенностями почвы, и отчаиваться тебе не следует.
 15. Словно дорога осенью: только ее выметут, как она уже снова покрывается сухими листьями.
 16. Клетка пошла искать птицу.
 17. В этом месте я еще ни разу не был: иначе дышится, ослепительнее, чем солнце, сияет с ним рядом звезда.
 18. Если бы возможно было построить Вавилонскую башню, не взбираясь на нее, это было бы позволено.
 19. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него.
 20. Леопарды врываются в храм и выпивают до дна содержимое жертвенных сосудов; это повторяется снова и снова, и в конце концов это может быть предусмотрено и становится частью обряда.
 21. Так крепко, как рука держит камень. А держит она его крепко лишь для того, чтобы швырнуть его как можно дальше. Но дорога приведет и в ту даль.
 22. Ты – это задача. Ни одного ученика кругом.
 23. При настоящем противнике в тебя вселяется безграничное мужество.
 24. Понять, какое это счастье, что почва, на которой ты стоишь, не может быть больше, чем способны покрыть две твои ступни.
 25. Как можно радоваться миру? Разве только если убегаешь в него.
 26. Укрытиям нет числа, спасение лишь в одном, но возможностей спасения опять-таки столько же, сколько укрытий.
- Есть цель, но нет пути; то, что мы называли путем, – это промедление.
27. Делать отрицательное – это на нас еще возложено; положительное дано нам уже.

28. Стоит лишь пустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили.

29. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, – это не твои мысли, а зла.

Животное отнимает плетку у хозяина и стегает себя, чтобы стать хозяином, но оно не знает, что это – только фантазия, вызванная новым узлом на плетке хозяина.

30. Добро в каком-то смысле безотрадно.

31. К самообладанию я не стремлюсь. Самообладание означает хотеть действовать в каком-то случайном месте бесконечных излучений моей духовной личности. А уж если приходится замыкать себя такими кругами, то предпочитаю делать это бездейтельно, просто дивясь этой чудовищной совокупности и унося домой лишь подкрепление, которое, e contrato,[1] дает этот взгляд.

32. Вороны утверждают, что одна-единственная ворона способна уничтожить небо. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба, ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон.

33. Мученики не недооценивают тела, они стараются возвысить его на кресте. В этом они едины со своими противниками.

34. Его усталость – это усталость гладиатора после боя, его работа состояла в том, что он белил угол канцелярского помещения.

35. Нет обладания, есть только бытие, только жаждущее последнего вздоха, жаждущее задохнуться бытие.

36. Раньше я не понимал, почему не получаю ответа на свой вопрос, сегодня не понимаю, как мог я думать, что можно спрашивать. Но я ведь и не думал, я только спрашивал.

37. Его ответом на утверждение, что он, может быть, и владеет, но не существует, были только дрожь и сердцебиенье.

38. Некто удивлялся тому, как легко ему идти путем вечности; а он стремглав несся по этому пути вниз.

39а. Злу нельзя платить в рассрочку – а непрестанно пытаются.

Можно допустить, что Александр Великий, несмотря на военные успехи своей молодости, несмотря на отличное войско, которое он создал, несмотря на устремленные изменить мир силы, которые он в себе чувствовал, остановился бы у Геллеспонта и никогда не переступил бы его, причем не от страха, не от нерешительности, не из-за слабой воли, а из-за земной тяжести.

39б. Путь бесконечен, тут ничего не убавишь, ничего не прибавишь, и все же каждый прикладывает к нему свой детский аршин. «Конечно, ты должен пройти еще этот аршин пути, это тебе зачтется».

40. Только наше понятие о времени заставляет нас называть Страшный суд именно так, по сути, это военно-полевой суд.

41. Несообразность мира кажется, к утешению, лишь количественной.

42. Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти.

43. Охотничьи собаки еще играют во дворе, но дичь от них не уйдет, сколько бы уже сейчас ни металась она по лесам.

44. Смешно оснастился ты для этого мира.

45. Чем больше ты впряжешь лошадей, тем скорее пойдет дело – то есть не скорее вырвешь из фундамента глыбу – это невозможно, – а скорее порвешь ремни и поедешь весело налегке.

46. Слово «быть» (sein) обозначает на немецком языке и существование, и принадлежность кому-то.

47. Им было предоставлено на выбор стать царями или гонцами царей. По-детски все захотели стать гонцами. Поэтому налицо одни гонцы, они носятся по миру и за отсутствием царей сами сообщают другу другу вести, которые стали бессмысленны. Они бы рады покончить со своей несчастной жизнью, но не осмеливаются из-за присяги.

48. Верить в прогресс не значит верить, что прогресс уже состоялся. Это не было бы верой.

49. А. – виртуоз, и небо его свидетель.

50. Человек не может жить без постоянного доверия к чему-то нерушимому в себе, причем и это нерушимое, и это доверие могут долго оставаться для него скрыты. Одно из проявлений этой скрытости – вера в личного бога.

51. Нужно было посредничество змея: зло может соблазнить человека, но не может стать человеком.

52. В борьбе между тобой и миром будь секундантом мира.

53. Никого нельзя обманывать, в том числе и мир, насчет его победы.

54. Нет ничего другого, кроме духовного мира; то, что мы называем чувственным миром, есть зло в мире духовном, а то, что мы называем злом, есть лишь необходимость какого-то момента нашего вечного развития.

Сильнейшим светом можно упразднить мир. Перед слабыми глазами он становится тверд, перед еще более слабыми у него появляются

кулаки, перед еще более слабыми он становится стыдлив и уничтожает того, кто отваживается взглянуть на него.

55. Всё обман: искать минимума заблуждений, оставаться при обыкновенном, искать максимума. В первом случае обманываешь добро, чересчур облегчая себе его достижение, и зло, ставя ему слишком невыгодные условия борьбы. Во втором случае обманываешь добро, даже не стремясь к нему, стало быть, в земных делах. В третьем случае обманываешь добро, как можно дальше от него удаляясь, и зло, надеясь обессилить его преувеличением. Предпочесть следовало бы, значит, второй случай, ибо добро обманываешь всегда, а зло в этом случае не обманываешь хотя бы с виду.

56. Есть вопросы, мимо которых мы не смогли бы пройти, если бы от природы не были освобождены от них.

57. Все, что вне чувственного мира, язык может выразить только намеками, но никак не сравнениями, даже и приблизительно, потому что язык, в соответствии с чувственным миром, тоскует только об обладании и о том, что с таковым связано.

58. Лгут меньше всего, когда меньше всего лгут, а не тогда, когда для этого меньше всего поводов.

59. Лестничная ступенька, не вытоптанная ногами, есть сама по себе нечто деревянное, грубо сколоченное.

60. Кто отрекается от мира, должен любить всех людей, ибо он отрекается и от их мира. Тем самым он начинает догадываться об истинной человеческой сути, которую нельзя не любить, если предположить, что ты ей соответствуешь.

61. Кто в мире любит своего ближнего, совершает не большую и не меньшую несправедливость, чем тот, кто любит в мире себя самого. Остается только вопрос, возможно ли первое.

62. Тот факт, что нет ничего другого, кроме духовного мира, отнимает у нас надежду и дает нам уверенность.

63. Наше искусство – это ослепленность истиной: истинен только свет на отпрянувшем с гримасой лице, больше ничего.

64/65. Изгнание из рая в главной своей части вечно. То есть хотя изгнание из рая окончательно и жизнь в мире неминуема, однако вечность этого процесса (или, выражаясь временными категориями, – вечная повторяемость этого процесса) дает нам все же возможность не только надолго оставаться в раю, но и в самом деле там находиться, независимо от того, знаем ли мы это здесь или нет.

66. Он свободный и защищенный гражданин земли, ибо посажен на цепь достаточно длинную, чтобы дать ему доступ ко всем земным пространствам, и все же длинную лишь настолько, чтобы ничто не могло вырвать его за пределы земли. Но в то же время он еще и свободный и защищенный гражданин неба, ибо посажен еще и на небесную цепь, рассчитанную подобным же образом. Если он рвется на землю, его душит ошейник неба, если он рвется в небо – ошейник земли. И тем не менее у него есть все возможности, и он это чувствует; более того, он даже отказывается объяснять все это первоначальной оплошностью.

67. Он бежит вслед за фактами, как начинающий конькобежец, который к тому же упражняется в таком месте, где это запрещено.

68. Что радостнее, чем вера в бога домашнего очага!

69. Теоретически существует полнейшая возможность счастья: верить в нечто нерушимое в себе и не стремиться к нему.

70/71. Нерушимое едино; оно – это каждый отдельный человек, и в то же время оно всеобщее, отсюда беспримерно нерасторжимая связь людей.

72. В одном и том же человеке есть опыт, который при полной своей неодинаковости имеет все-таки один и тот же объект, а из этого следует, что в одном и том же человеке не может не быть разных субъектов.

73. Он жрет отбросы с собственного стола; благодаря этому он, правда, какое-то время более сыт, чем все, но он отучается есть сидя за столом; а из-за этого потом перестают поступать и отбросы.

74. Если то, что будто бы уничтожилось в раю, поддавалось уничтожению, значит, решающего значения оно не имело; а если не поддавалось, то, значит, мы живем в ложной вере.

75. Проверь себя на человечестве. Сомневающегося оно заставляет сомневаться, верящего – верить.

76. Это чувство: «здесь я не брошу якорь» – и сразу почувствовать катящиеся, несущие волны вокруг себя!

В обход. Крадучись, робея, надеясь, обходит ответ вопрос, в отчаянье вглядывается в его неприступное лицо, следует за ним самыми бессмысленными, то есть как можно дальше уводящими от ответа путями.

77. Общение с людьми совращает к самоанализу.

78. Дух лишь тогда делается свободным, когда он перестает быть опорой.

79. Чувственная любовь скрывает небесную; в одиночку ей это не удалось бы, но поскольку она неосознанно содержит в себе элемент небесной любви, это ей удается.

80. Истина неразделима, значит, она сама не может узнать себя; кто хочет узнать ее, должен быть ложью.

81. Никто не может желать того, что ему в конечном счете во вред. Если, однако, от отдельного человека складывается иное впечатление, – а оно складывается, возможно, всегда, – то объясняется это тем, что кто-то в человеке желает чего-то, что этому кому-

то, правда, на пользу, но кому-то другому, кто привлекается разве что для оценки данного случая, сильно вредит. Если бы человек с самого начала, а не только при оценке, стал на сторону этого второго, то первое «кто-то» угасло бы, а с ним и желание.

82. Почему мы ропщем на грехопадение? Не из-за него изгнаны мы из рая, а из-за дерева жизни, чтобы нам не есть от него.

83. Грешны мы не только тем, что ели от дерева познания, но и тем, что еще не ели от дерева жизни. Грешно состояние, в котором мы пребываем, независимо от вины.

84. Мы были созданы, чтобы жить в раю, рай был предназначен для того, чтобы служить нам. Наше назначение было изменено; что это случилось и с назначением рая, не говорится.

85. Зло – это излучение человеческого сознания в определенных переходных положениях. Иллюзия – это, в сущности, не чувственный мир, а его зло, которое, однако, для наших глаз и составляет чувственный мир.

86. С момента грехопадения мы, по сути, равны в способности распознавать добро и зло; тем не менее именно тут ищем мы особые свои преимущества. Но действительные различия начинаются лишь по ту сторону этого распознавания. Видимость противоположности вызывается вот чем: никто не может удовлетвориться одним распознаванием, а должен стараться действовать в соответствии с таковым. Но на это ему не дано силы, а потому он должен надрываться, даже рискуя все равно не обрести нужной силы, ему просто ничего другого, кроме этой последней попытки, не остается. (Таков смысл угрозы смертью при запрете есть от дерева познания; таков, может быть, и первоначальный смысл естественной смерти.) Перед этой попыткой он испытывает страх; он предпочел бы взять назад распознавание добра и зла (название «грехопадение» идет от этого страха); но случившееся нельзя взять назад, а можно только замутить. Для этой цели возникают мотивации. Весь мир полон их, больше того, весь видимый мир – это, может быть, не что иное, как мотивация человека, который хочет минуты покоя. Попытка фальсифицировать факт распознавания, выставить распознавание лишь целью.

87. Вера – как топор гильотины, так же тяжела, так же легка.

88. Смерть перед нами – примерно как картина на стене класса, изображающая битву Александра Македонского. Все дело в том, чтобы еще в этой жизни затмить картину своими деяниями или совсем погасить.

89. У человека есть свобода воли, причем тройкая. Во-первых, он был свободен, когда пожелал этой жизни; теперь он, правда, уже не может взять ее назад, ибо он уже не тот, кто тогда хотел ее, тот он лишь в той мере, в какой, живя, исполняет свою тогдашнюю волю.

Во-вторых, он свободен, поскольку может выбрать манеру ходьбы и путь этой жизни.

В-третьих, он свободен, поскольку тот, кто некогда будет существовать снова, обладает волей, чтобы заставить себя при любых условиях идти через жизнь и таким способом прийти к себе, причем дорогой хоть и избираемой, но настолько запутанной, что она ни одной дольки этой жизни не оставляет нетронутой.

Это тройкость свободной воли, но это ввиду одновременности и одинаковости, одинаковость по сути в такой степени, что не остается места для воли, ни свободной, ни несвободной.

90. Две возможности: делать себя бесконечно малым или быть им. Второе – завершение, значит, бездеятельность, первое – начало, значит, действие.

91. Во избежание словесной ошибки: что следует деятельно разрушить, то надо сперва крепко схватить; что крошится, то крошится, но разрушить это нельзя.

92. Первое идолопоклонство было, конечно, страхом перед вещами, а в связи с этим – страхом перед необходимостью вещей, а в связи с этим – страхом перед ответственностью за вещи. Ответственность эта казалась такой чудовищной, что ее не осмеливались возложить даже на какое-то единичное внечеловеческое существо, ибо и посредничество какого-то существа еще не облегчило бы человеческую ответственность в достаточной степени, общение только с одним существом было бы еще слишком отягощено ответственностью, поэтому на каждую вещь возложили ответственность за себя самое, более того, на эти вещи возложили еще и относительную ответственность за человека.

93. В последний раз психология!

94. Две задачи начала жизни: все больше ограничивать свой круг и постоянно проверять, не спрятался ли ты где-нибудь вне своего круга.

95. Зло бывает порой в руке, как орудие; узанное или неузнанное, оно, не переча, позволяет отложить себя в сторону, если есть воля на то.

96. Радости этой жизни суть не ее радости, а наш страх пред восхождением в высшую жизнь; муки этой жизни суть не ее муки, а наше самобичевание из-за этого страха.

97. Только здесь страдать – это страдать. Не в том смысле, что те, кто страдает здесь, где-то в другом месте из-за этого страдания будут возвышены, а в том смысле, что то, что именуется в этом мире страданием, в другом мире не изменяется, а только освобождено от своей противоположности, блаженства.

98. Представление о бесконечной широте и полноте космоса есть результат доведенного до крайности смешения многотрудного созидания со свободным волеизъявлением.

99. Насколько точнее самой неумолимой убежденности в нашем теперешнем греховном состоянии, даже самая слабая убежденность в будущем, вечном оправдании нашей бренности. Только сила, с какой переносишь эту вторую убежденность, – а она в своей чистоте полностью охватывает первую – есть мера веры.

Иные полагают, что помимо большого изначального обмана устраивают еще в каждом случае, специально для них, маленький особый обман, что, стало быть, когда на сцене играется любовная пьеса, у актрисы, кроме лживой улыбки для своего возлюбленного, есть еще особенно коварная улыбка для вполне определенного зрителя на галерке. Это значит заходить слишком далеко.

100. Может быть знание о дьявольщине, но не может быть веры в нее, ибо больше дьявольщины, чем налицо, не бывает.

101. Грех всегда приходит открыто и ощущается сразу. Он уходит на своих корнях, и его не нужно вырывать.

102. Всеми страданиями вокруг нас должны страдать и мы. У всех у нас не одно тело, но одно развитие, а это проводит нас через все боли в той или иной форме. Как дитя проходит в своем развитии через все стадии жизни вплоть до старости и до смерти (и каждая стадия, в сущности, от страха или от желания, кажется предыдущей недостижимой), точно так же и мы (связанные с человечеством не менее глубоко, чем с самими собой) проходим в своем развитии через все страдания этого мира. Справедливости при таком положении нет места, но нет места и страху перед страданием или возможности истолковать страдание как заслугу.

103. Ты можешь отстраняться от страданий мира, это тебе разрешается и соответствует твоей природе, но, быть может, как раз это отстранение и есть единственное страдание, которого ты мог бы избежать.

105. Средство, которым обольщает этот мир, и свидетельство того, что этот мир – лишь переход, суть одно и то же. И по праву, ибо только так может нас обольстить этот мир, и так оно в действительности и есть. Но беда в том, что после удавшегося обольщения мы забываем вышеупомянутое свидетельство, и так в сущности добро заманивает нас в зло, а взгляд женщины – в ее постель.

106. Смирение дает каждому, даже отчаявшемуся от одиночества, сильнейшую связь с ближним, причем немедленно, правда, только при полном и долгом смирении. Оно способно на это потому, что оно есть истинный язык молитвы, поклонение и теснейшая связь одновременно. Отношение к ближнему – это отношение молитвы, отношение к себе – это отношение стремления, из молитвы черпается сила для стремления.

Можешь ли ты знать что-либо иное, кроме обмана? Ведь стоит уничтожить обман, как тебе нельзя будет глядеть ни на что, а то превратишься в соляной столп.

107. Все очень ласковы с А. – подобно тому, например, как даже от хороших игроков оберегают превосходный бильярд, пока не явится великий игрок, который внимательно осмотрит доску, не потерпит никаких преждевременных изъянов, а затем, когда начнет играть сам, разъярится самым неистовым образом.

108. «А затем он вернулся к своей работе, как ни в чем не бывало». Это замечание знакомо нам по неясному множеству старинных повестей, хотя, может быть, не встречается ни в одной.

109. «Что нам не хватает веры, нельзя сказать. Сам факт нашей жизни имеет для веры неисчерпаемое значение». – «При чем тут вера? Ведь нельзя же не жить». – «Именно в этом „нельзя же“ и заключена безумная сила веры; в этом отрицании она получает облик».

Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой.

ОН

Записи 1920 года

Ни для чего он не бывает достаточно подготовлен, но не может даже упрекать себя в этом, ибо где взять в этой жизни, так мучительно требующей каждую минуту готовности, время, чтоб подготовиться, и даже найдись время, можно ли подготовиться, прежде чем узнаешь задачу, то есть можно ли вообще выполнить естественную, а не лишь искусственно поставленную задачу? Потому-то он давно уже под колесами; странным, но и утешительным образом, к этому он был подготовлен меньше всего.

Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и, соответственно этой немислимой новизне, чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя.

Со своей тюрьмой он смирился. Кончить узником – это могло бы составить цель жизни. Но у клетки была решетка. Равнодушно, властно, как у себя дома, через решетку вливался и выливался шум мира, узник был, по сути, свободен, он мог во всем принимать участие, снаружи ничего не ускользало от него, он мог бы даже покинуть клетку, ведь прутья решетки отстояли друг от друга на метр, он даже узником не был.

У него такое чувство, что он заграждает себе путь тем, что он жив, а это препятствие служит ему опять-таки доказательством, что он жив.

Его собственная лобная кость преграждает ему путь, он в кровь расшибает себе лоб о собственный лоб.

Он чувствует себя на этой земле узником, ему тесно, у него появляются печаль, слабость, болезни, бредовые мысли узников, никакое утешение не может утешить его, потому что это именно лишь утешение, хрупкое, вызывающее головную боль утешение перед лицом грубого факта пребывания в узилище. Но если спросить его, чего он, собственно, хочет, он не сможет ответить, ибо у него – это одно из

его сильнейших доказательств – нет представлений о свободе.

Иные опровергают беду ссылкой на солнце, он опровергает солнце ссылкой на беду.

Самобичующее, тяжеловесное, часто надолго прерывающееся, но, по сути, непрерывное волновое движение всякой жизни, чужой и собственной, мучит его, потому что приносит с собой непрерывную необходимость мышления. Услыхав, что у его друга должен родиться ребенок, он сознает, что он уже пострадал за это, обо всем подумав заранее.

Он видит двояко. Первое – это спокойное, наполненное жизнью, невозможное без известного удовольствия созерцание, рассуждение, исследование, излияние. Численность и возможность всего этого бесконечна, даже мокрице нужна относительно большая трещина, чтобы укрыться, а для этих работ вообще не остается места: даже там, где нет ни трещинки, они могут жить тысячами и тысячами, проникая друг в друга. Это – первое. А второе – это момент, когда ты, вызванный, чтобы дать отчет, не выдавливаешь из себя ни звука, бросаешься назад в рассуждения и т. д., но теперь, видя полную безнадежность, уже никак не можешь купаться во всем этом, тяжелеешь и с проклятьем тонешь.

Речь идет вот о чем. Однажды, много лет назад, я сидел, конечно, довольно грустный, на скате Лаврентьевой горы. Я проверял, чего желаю от жизни. Самым важным или самым привлекательным оказалось желание найти такой взгляд на жизнь (и – это, разумеется, было неразрывно связано – письменно убедить в нем других), при котором жизнь хоть и сохраняет свои естественные тяжелые падения и подъемы, но в то же время, с не меньшей ясностью, предстает пустотой, сном, неопределенностью. Желание, может быть, и прекрасное, если бы пожелал я по-настоящему. Примерно как пожелал бы сработать стол по всем правилам ремесла и в то же время ничего не делать, причем не так, чтобы можно было сказать: «Для него сработать стол – пустяк», а так, чтобы сказали: «Для него сработать стол – настоящая работа и в то же время пустяк», отчего работа стала бы еще смелее, еще решительнее, еще подлиннее и, если хочешь, еще безумнее.

Но он совершенно не мог так пожелать, ибо его желание не было желанием, оно было лишь оправданием, узакониванием пустоты, оттенком веселости, который он хотел придать пустоте, куда он, правда, сделал тогда лишь несколько первых шагов, но уже чувствовал, что это – его стихия. Это было тогда своего рода прощание с видениями молодости, которая, впрочем, никогда не обманывала его непосредственно, а только через речи всяких авторитетов вокруг. Так возникла необходимость «желания».

Он доказывает только себя самого, его единственное доказательство – он сам, все противники побеждают его сразу же, но не тем, что опровергают его (он неопровержим), а тем, что доказывают себя.

Человеческие союзы основаны на том, что кто-то своим сильным бытием как бы опроверг отдельно другие, сами по себе неопровержимые жизни. Им-то это приятно и утешительно, но это лишено правды, а потому всегда недолговечно.

Это была прежде часть монументальной группы. Вокруг какого-то возвышения посредине стояли в продуманном порядке символы солдатского сословия, искусств, наук, ремесел. Одним из этих многих был он. Сейчас эта группа давно распалась, или по крайней мере он покинул ее и влачит свое существование один. Даже прежней профессии у него больше нет, он и забыл даже, что изображал тогда. Наверно, именно из-за этого забвенья возникает какая-то печаль, неуверенность, беспокойность, какая-то омрачающая настоящее тоска по прошлому. И все же эта тоска есть важный элемент жизненной силы, а может быть, и она сама.

Он живет не ради своей личной жизни, он мыслит не ради своего личного мышления. У него такое чувство, что он живет и мыслит по принуждению некоей семьи, для которой, хоть она и сама куда как богата силой жизни и мысли, он по какому-то неведомому ему закону представляет собой некую формальную необходимость. Из-за этой неведомой семьи и из-за этого неведомого закона его нельзя отпустить.

Первородный грех, древняя несправедливость, совершенная человеком, состоит в упреке, который делает и от которого не отступает человек, в упреке, что с ним поступили несправедливо, что по отношению к нему был совершен первородный грех.

Перед витриной Казинелли вертелись двое детей, мальчик лет шести и семилетняя девочка, богато одетые, говорили о Боге и о грехах. Я остановился позади них. Девочка, вероятно, католичка, считала только обман Бога настоящим грехом. Мальчик, вероятно, протестант, с детским упорством спрашивал, а что же такое обман человека или кража. «Тоже очень большой грех, – сказала девочка, – но не самый большой, только грехи перед Богом самые большие, для грехов перед людьми у нас есть исповедь. Когда я исповедуюсь, за мной опять стоит ангел, а когда совершаю грех, за моей спиной появляется черт, только его не видно». И устав от полусерьезности, она для забавы повернулась на каблуках и сказала: «Видишь, никого за мной нет». Мальчик повернулся таким же образом и увидел меня. «Видишь, – сказал он, не считаясь с тем, что я услышу его, или вовсе не думая об этом, – за мной стоит черт» – «Этого я тоже вижу, – сказала девочка, – но я его не имею в виду».

Он не хочет утешения, но не потому, что не хочет его, – кто его не хочет? – а потому, что искать утешения значит: посвятить этой задаче свою жизнь, жить всегда на периферии собственной личности, чуть ли не вне ее, едва ли уже зная, для кого ищешь утешения, и поэтому не быть даже в состоянии найти действенное утешение, действенное, не истинное, ибо такового не существует.

Он сопротивляется пристальному взгляду ближнего. Человек, даже будь он непогрешим, видит в другом только ту часть, на которую хватает его силы зрения и способа смотреть. Как всякий, но крайне преувеличенно, он норовит ограничить себя так, как в силах увидеть его взгляд ближнего. Если бы Робинзон, для утешения ли, от покорности ли, от страха, незнания или тоски так и не покидал самой высокой или, вернее, самой зримой точки острова, он бы вскоре погиб; но поскольку он, не рассчитывая на корабли и на их слабые подзорные трубы, начал исследовать весь свой остров и находить в нем радость, он сохранил жизнь и был, хоть и в необходимой для разума последовательности, но все-таки в конце концов найден.

– Ты делаешь из своей нужды добродетель.

– Во-первых, это делает всякий, а во-вторых, именно я этого не делаю. Я оставляю свою нужду нуждой, я не осушаю болот, а живу в их миазмах.

– Из этого ты и делаешь добродетель.

– Как всякий, я же сказал. Кстати, я делаю это только ради тебя. Чтобы ты оставался расположен ко мне, я терплю ущерб, наносимый моей душе.

Все ему позволено, только не терять самообладание, отчего опять-таки запрещено все, кроме одного, необходимого для всей совокупности сию минуту.

Узость сознания есть социальное требование.

Все добродетели индивидуальны, все пороки социальны. То, что считается социальной добродетелью, например, любовь, бескорыстие, справедливость, самоотверженность, – это всё лишь «паразитально» ослабленные социальные пороки.

Разница между теми «да» и «нет», которые он говорит своим современникам, и теми, которые, собственно, следовало бы сказать, соответствует, наверно, разнице между жизнью и смертью, да и постижима ведь только так же – догадкой.

Причина того, что мнение потомков о ком-то вернее, чем мнение современников, заключена в умершем. Раскрываешься во всем своем своеобразии лишь после смерти, лишь когда ты в одиночестве. Смерть для каждого – как субботний вечер для трубочиста, они смывают с тела сажу. Становится видно, кто кому повредил больше – современники ему или он современникам, в последнем случае он был великим человеком.

Сила для отрицания, для этого естественнейшего проявления непрестанно меняющегося, обновляющегося, отмирающего, оживающего в борьбе человеческого организма, есть у нас всегда, но нет мужества, а ведь жить – это отрицать, и значит, отрицание – это утверждение.

Со своими отмирающими мыслями он не умирает. Отмирание есть лишь явление внутри, внутреннего мира (который сохраняется, даже составляя только одну мысль), такое же явление природы, как любое другое, ни веселое, ни печальное.

Течение, против которого он плывет, такое стремительное, что в какой-то рассеянности иногда приходишь в отчаяние от однообразного спокойствия, среди которого плещешься, так бесконечно далеко отнесло тебя назад в мгновение, когда ты сплывал.

Он хочет пить и отделен от источника только кустами. Но он разделен надвое, одна часть охватывает взглядом все, видит, что он стоит здесь и что источник рядом, а вторая часть ничего не замечает, разве лишь догадывается, что первая всё видит. Но поскольку он ничего не замечает, пить он не может.

Он не смел и не легкомыслен. Но и не боязлив. Свободная жизнь не испугала бы его. Такая жизнь у него не сложилась, но и это не заботит его, как вообще не заботит его он сам. Но есть кто-то совершенно ему неведомый, кого он – только он – непрестанно заботит. Эти заботы неведомого существа о нем, особенно непрестанность этих забот, вызывают у него порой в тихие часы мучительную головную боль.

Подняться мешает ему какая-то тяжесть, чувство застрахованности на всякий случай, ощущение ложа, которое ему приготовлено и принадлежит только ему; а лежать неподвижно мешает ему беспокойство, которое гонит его с ложа, мешает совесть, бесконечно стучащее сердце, страх перед смертью и желание опровергнуть ее, все это не дает ему лежать, и он поднимается снова. Эти подъемы и опускания и некоторые случайные, несущественные наблюдения, сделанные на этих путях, суть его жизнь.

У него два противника. Первый теснит его сзади изначально. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими. Первый, собственно, поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, и так же поддерживает его второй в борьбе с первым, ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Во всяком случае он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой – для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, – он сойдет с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен судьей над своими борющимися друг с другом противниками.

К серии «ОН»

Он нашел архимедовскую точку опоры, но использовал ее против себя, лишь с этим условием, видимо, ему и было дано найти ее.

14 января 1920. Себя он знает, другим он верит, это противоречие распиливает для него всё.

Он живет в рассеянии. Его элементы скитаются по миру вольной ордой, и только потому, что его комната тоже принадлежит к миру, он иногда видит его вдали. Как он может нести ответственность за него? Разве это можно назвать ответственностью?

У него своеобразная входная дверь, когда она захлопывается, ее уже нельзя открыть, надо выламывать замок. Поэтому он никогда не запирает ее, а оставляет полуоткрытой и закладывает деревяшкой, чтобы дверь не захлопнулась. Это, конечно, лишает его всякого домашнего уюта. Его соседи, правда, заслуживают доверия, тем не менее ценные вещи он должен весь день носить с собой в сумке, а когда он лежит на диване у себя в комнате, кажется, будто он лежит в коридоре, летом оттуда тянет душным воздухом, зимой – ледяным.

Всего, даже самого обычного, например, обслуживания в ресторане, он должен добиваться лишь с помощью полиции. Это лишает жизнь всякой уютности.

У него множество судей, они как полчища птиц в ветках дерева. Их голоса перемешиваются, в вопросах ранга и компетенции разобраться нельзя, к тому же их места то и дело меняются. Кое-кого, однако, можно различить, например, того, кто держится мнения, что надо только однажды перейти на сторону добра и ты уже спасен, независимо от прошлого и даже независимо от будущего. Такое мнение не может, конечно, не совратить на сторону зла, если толкование этого перехода на сторону добра не очень строго. А оно очень строго, этот судья не признавал еще ни одного дела подсудным себе. Но вокруг него масса кандидатов, вечно тараторящий народ, который ему подражает. Они всегда слышат его...

2 февраля 1920. Он вспоминает одну картину, изображавшую летний день на Темзе. Река была во всю свою ширину заполнена лодками, которые ждали, чтобы открылся шлюз. Во всех лодках были веселые молодые люди в легкой светлой одежде, они почти лежали, отдаваясь теплему воздуху и речной прохладе. Благодаря этой общности их веселье не ограничивалось пределами отдельной лодки, от лодки к лодке перелетали шутки и смех.

Он представил себе, что где-то на лужайке на берегу – берега были на картине едва намечены, надо всем царило скопление лодок – стоял он сам. Он глядел на этот праздник, который вообще-то не был праздником, но мог быть так назван. Ему, конечно, страшно хотелось участвовать в нем, он прямо-таки тосковал, но он должен был признаться себе, что он отстранен, ему нельзя было влиться туда, для этого потребовалась бы такая большая подготовка, что за ней ушли бы в прошлое не только это воскресенье, не только множество лет, но и он сам, и даже если бы время пожелало остановиться здесь, все равно другого результата не получилось бы, все его происхождение, воспитание, физическое развитие должны были идти другим путем.

Так далек был он, значит, от этих спортсменов, но вместе с тем он был ведь и очень близок к ним, и это было труднее понять. Ведь они тоже были людьми, как он, ничто человеческое не могло быть им совершенно чуждо, если бы, стало быть, их исследовали, то непременно нашли бы, что чувство, которое им владело и отстранило его от этого лодочного похода, жило и в них, только оно отнюдь не владело ими, а лишь мелькало в каких-то темных углах.

Моя тюремная камера – моя крепость.

– Подняться мешает ему какая-то тяжесть, чувство застрахованности на всякий случай, ощущение ложа, которое ему приготовлено и принадлежит только ему; а лежать неподвижно мешает ему беспокойство, которое гонит его с ложа, мешает совесть, бесконечно стучащее сердце, страх перед смертью и желание опровергнуть ее, все это не дает ему лежать, и он поднимается снова. Эти подъемы и опускания и некоторые случайные, мимолетные, несущественные наблюдения, сделанные на этих путях, суть его жизнь.

– Твоя картина убийственна, но лишь для анализа, главную ошибку которого она показывает. Верно, человек поднимается, падает назад, снова поднимается и так далее, но в то же время и с еще большей верностью это вовсе не так, он ведь един, в полете, стало быть, есть и покой, а в покое полет, и то и другое соединено в каждом, и в каждом – соединенность, и в каждом соединенность соединенности и так далее вплоть до, ну, вплоть до действительности жизни, причем и эта картина столь же неверна и, может быть, даже еще обманчивее, чем твоя. Из этой местности нет пути к жизни, хотя от жизни сюда должен бы быть путь. Вот как мы заблудились.

Примечания

1 Наоборот (лат.).